

Профилактика самоубийства

Гуманитарно продвинутые авторы, которым сегодня случается писать о проблеме самоубийства, часто цитируют Камю: основной вопрос философии - стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Однако лично передо мной этот вопрос во всей его грандиозной наготе еще лет тридцать назад поставил Лев Толстой: в чем заключается смысл жизни, который не уничтожался бы смертью? Иначе говоря, ради чего нам мучиться, когда жизнь перестает быть легкой и приятной? Да и может ли она быть приятной для человека, наделенного воображением, постоянно напоминающим ему, чем она непременно закончится. Вцепившись в куст, человек висит над колодезцем, на дне которого его поджидает разинувший пасть дракон; несчастный удваивает хватку - и замечает, как две мыши, черная и белая, неустанно грызут тот стебель, на котором держится куст. И тогда... Тогда он начинает торопливо слизывать сладкий сок, которым покрыты листья. Вот наша жизнь: мышь черная, ночь, и мышь белая, день, безостановочно приближают нас к смерти, а мы, в место того чтобы замереть от ужаса, спешим нализаться - кто чем. Кто удовольствиями, кто властью, кто почестями, а кто и вином, и, честное слово, в этом контексте они выглядят отнюдь не глупее прочих. А те, кто предпочитает не длить этот кошмар, а по доброй воле разжимает руки, начинают представляться вовсе не более слабыми, как нас учили ("Застрелился - не выдержал борьбы"), а, напротив, более мудрыми и мужественными.

Привести эти размышления в систему автора побудило участие в проекте "Профилактика самоубийства", финансируемом институтом "Открытое общество".

Эта беспощадная притча из толстовской "Исповеди", разумеется, не открыла мне ничего нового - Толстой всего лишь показал мне, что подобные мысли преследуют не меня одного. В советские годы смерть была просто вычеркнута из общественного сознания, если только это не была смерть-самопожертвование: шансы попасть в печать имел только тот, кто пал на поле брани, погиб в огне, спасая колхозный урожай, или получил смертельные ожоги, вытаскивая ребенка из рукотворного гейзера лопнувшей тепломагистрали. Остальные должны были обретать смысл жизни в строительстве коммунистического завтра, а если это занятие недостаточно их захватывало, то - сами виноваты! - общество покидало их один на один со смертью. Их - это практически всех нас. Советская пропаганда давным-давно утратила власть над "сердцами" и вместе с тем не позволяла укрепиться ни одному альтернативному смыслообразующему институту. Хотя народ что-то для себя и в марксизме-ленинизме выискивал - хорошим людям при всех властях хочется жить не только ради шкуры.

Я тоже пытался соорудить какой-то плотик из подворачивающихся под руку обломков великого кораблекрушения. Единственное мировоззрение, которое я вынес из столичного университета, было научное: ничего не принимать без доказательств, все субъективные чувства и мнения перепроверять при помощи измерительных приборов. Сам великий Эйнштейн учил нас, что вопроса "Существует ли такое-то явление?" для физика нет, есть только вопрос "Как это явление измерить?" Поэтому спрашивать "Какова ценность нашей жизни?" следует тоже у этой высшей инстанции - у барометров и вольтметров. Которые дружно отвечают: "Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль". Я, конечно, знал, что разные религии как-то определяют место смерти в человеческом мире, но ведь уважающая себя наука несовместима ни с одной религией. Поскольку любое знакомство она должна начать с выражения недоверия: "А почему, собственно, я должна вам верить? Раскройте

основания, на которых вы базируетесь. Ах, предания, ах, откровения, ах, внутренняя убежденность. Иначе говоря, все до одного запретные аргументы, не поддающиеся объективному, то есть незаинтересованному подтверждению".

Одна из важнейших функций науки диаметрально противоположна задачам религии: дело науки возбуждать сомнения - дело религии их усыплять. Верующие, правда, частенько говорят ученым: "Если даже мы не можем доказать, что Бог существует, то и вы не можете доказать, что он не существует. А потому мы вправе..." "Нет, не вправе, - возражают ученые, желающие быть последовательными (а последовательность для ученого есть всего лишь форма честности). - Если вы не можете доказать существование чего-то, вы просто не имеете права об этом высказываться - ни в положительную, ни в отрицательную сторону". Даже к собственным основам наука рано или поздно обращает это требование: "А на чем основаны сами основы?" - и делает новый шаг к новой безосновательности. Принимаемой на время исключительно в силу ее психологической убедительности, - то есть в точности так, как принимаются мифы: "Это же ясно само собой! Кто же, по-вашему, создал мир, если не Бог?" - вопрошают верующие. "А кто, по-вашему, создал Бога?" - возражают скептики. "Бог существовал всегда". - "И мир существовал всегда. Вы всего лишь относите неизвестность к ничего не означающему слову".

И так до бесконечности. Остановиться здесь можно только волевым усилием: "Довольно, я не желаю больше слушать". Я думаю, сегодняшний образованный человек в глубине души уже сознает, что выбор любой модели мира - с объективным смыслом его существования или без оно, с Богом или без Бога, - что этот выбор в конечном счете совершает он сам. И если даже ему кажется, что он всего лишь доверяется какому-то методу или какой-то высшей инстанции, все равно от него зависит, полагаться на них или не полагаться. И, кстати, даже приятие Бога вовсе не дает автоматического ответа на вопрос о смысле твоей собственной, индивидуальной и неповторимой жизни. То, что сегодня иногда именуют религиозным возрождением, чаще всего - психологическое иждивенчество: в религии охотно принимают ее утешительную сторону и очень редко замечают требовательную - многие ли готовы подставить ударившему не пострадавшую щеку? А об устрашающей стороне, кажется, и вовсе забыли, заслуживши за это хотя бы кратковременную экскурсию в геенну огненную.

А вот как, например, мы решали бы вопрос о смысле жизни на месте, скажем, древних греков с их трагической религией, не подслащенной даже идеей воздаяния - всем одна скорбная участь: и героям, и трусам, и честным, и бесчестным, человек - бессильная игрушка бессмысленного рока... Как такое выдержали бы мы, по-прежнему в глубине души убежденные, что мир должен быть справедлив, а потому хорошим людям обязан сопутствовать успех? Уже один наш этот подсознательный оптимизм (если не классово правильное, то индивидуально правильное поведение должно сделать нас счастливыми) - уже одна только эта нелепая вера, еще ни разу не подтвержденная опытом человечества, способна сделать вас несчастными. Потому что мир и в самом деле трагичен: все самые дорогие для нас ценности противоречат друг другу - выбирая одну, мы неизбежно попираем остальные; успех зависит не от нас - случай может разрушить самые хитроумно изобретенные и настойчиво воплощаемые замыслы и увенчать удачей глупца и труса... Но трагические греки почему-то не выглядят несчастнее нас - возможно, именно потому, что неудачи и беды они считали нормальным элементом жизни, а не оскорбительной несправедливостью, каковыми в глубине души ощущаем их мы.

Чтобы набраться стойкости перед жизненными испытаниями, нам прежде всего необходима прививка трагического - избавление от рудиментов оптимизма. Правда, новое время к двум главным компонентам трагического мирозерцания - неустранимая противоречивость и непредсказуемость мира - прибавило третий: нашу неустранимую ответственность, понимание того, что всякое воззрение на мир есть в конечном счете еще и продукт нашей собственной воли. Нам больше не на кого сослаться, мы сами назначаем, что считать добром и что злом, что красотой и что безобразием, что осмысленностью и что абсурдом. Поэтому мы должны научиться держаться ни на чем.

Но по силам ли это человеческим? Можно ли безоговорочно ценить то, чему ты сам же и назначил цену? Вопрос на первый взгляд далекий от сегодняшних, да и любых других будней, но - только на первый взгляд. Попробуйте чем-то утешить человека, попавшего в нестерпимые, однако, увы, вполне будничные обстоятельства - предательство, болезнь, утрата, унижение - что может быть будничнее этого! - и вам неизбежно придется выяснить для себя, какой вы видите роль страдания в нашем мире. Что оно такое - испытание, из которого мы должны выйти духовно выросшими, или бессмысленная пытка, от которой необходимо побыстрее отделаться любыми обезболивающими средствами. И каков может быть смысл нашей жизни, чтобы он оказался в силах перевесить те муки, которыми была, есть и будет переполнена жизнь даже самого благополучного народа. И, следовательно, множества индивидов.

Впервые серьезно задумавшись об этом молодым советским математиком, то есть социологически и метафизически полным дикарем, я чуть голову не сломал, пока додумался, что смысл жизни - не звезда и не химический элемент: его невозможно открыть в готовом виде - его создаем мы сами, и другого судьи, считать его достаточно или недостаточно обоснованным, помимо нашего субъективного чувства, невозможно. Измерительные приборы могут определить, сколько соли и перца содержит котлета, но вкусная она или нет, можем сказать только мы. Эти, простите за выражение, искания я включил в свою первую повесть "Весы для добра" и с изумлением узнал, что поиски смысла жизни - еще худшая антисоветчина, чем прорехи плановой экономики: жизненного абсурда, равно как и секса, у нас не существует.

Повесть удалось опубликовать лишь в высокую перестройку, но к тому времени я успел нарыть еще кое-что в том же направлении. В том же, потому что проблема смысла жизни и проблема самоубийства - в сущности, эквивалентны, оба эти вопроса - "Почему мы себя убиваем?" и "Почему мы себя не убиваем, что привязывает нас к жизни?" - отыскивают один и тот же фактор. Ибо отсылка к инстинкту самосохранения дает только иллюзию ответа: страх смерти не есть привязанность к жизни. Инстинкт самосохранения включается лишь в минуты реальной опасности, а потому самоубийцу он может остановить разве что в последний миг - тогда как наличие жизненного смысла почти изгоняет даже фантазирование о самоуничтожении. К тому же еще большой вопрос, существует ли привязанность к жизни вообще, а не к каким-то конкретным ее проявлениям. Более того, каждому порядочному человеку очень хорошо известно, сколь часто мы оказываемся более стойкими в отстаивании чужих, а не собственных интересов: потерять свои деньги - это чаще всего только неприятность, зато потерять чужие - серьезная трагедия, вполне способная поставить честного человека (хотя бы и сугубого релятивиста) на грань самоубийства.

Это наблюдение наводит на общий закон: привязанность к себе делает нас слабыми и уязвимыми, а сильными нас может сделать лишь привязанность к чему-то внешнему. И

убеждения - психологическая опора поступков - прочными в нас бывают лишь те, которые мы получили извне, и лучше всего - по наследству. Этические, эстетические вкусы в основе своей заложены в нас именно так, и мы начинаем сгибаться перед несчастьями не просто потому, что в нас ослабевает наша индивидуальная воля, а главным образом потому, что в нас слабеет то самое внешнее влияние - так сказать, не лично приобретенное, а "чужое" в нас. Со снижением авторитета советской власти государственные мобилизующие источники "чужого" почти вовсе иссякли, а между тем власть всячески препятствовала искать их в другом месте. Хотя была и недостаточно жестокой, чтобы заглушить самодельные утопии об автоматически исцеляющей роли демократии и частной собственности - в итоге советские люди попали в реальный мир, словно младенцы в джунгли. Усвоивши вдобавок, что все сверхличные ценности - родимые пятна социализма, а государство - орган насилия над личностью, уже окруженные самыми могучими и опасными внегосударственными стихиями, наиболее упертые ветераны правозащитного движения и до сих пор следят лишь за одним врагом - за государством, все остальные ужасы и безобразия по-прежнему не на их участке.

Но что правда, то правда - они не мешают другим изучать что вздумается. А при коммунистах мне отказывались выдать в Публичной библиотеке классический трактат Эмиля Дюркгейма "Самоубийство", требовали с места работы ходатайство, подписанное "треугольником" (какое наслаждение забыть это по заслугам идиотское слово!) - такие вот были государственные тайны, почти сто лет открытые всему миру... Поэтому я конспектировал сверхколлективистского Дюркгейма с неким внутренним торжеством, словно это был "Архипелаг ГУЛАГ": что, взяли?! Еще не зная его конечного вывода, я уже наслаждался тысячетонной мощью дюркгеймовской аргументации, одну за другой отсекавшей все расхожие гипотезы, стремящиеся вывести уровень самоубийств из бросающихся в глаза материальных обстоятельств: бедность, душевные заболевания, пьянство... Правда, итоговая формула Дюркгейма - рост самоубийств связан с упадком сплоченности общества - показалась мне не совсем удачной: слово "сплоченность" в русском языке ассоциируется с духом взаимопомощи, тогда как многие "сплоченные" общества просто ужасают своим презрением к человеку (но что верно, то верно - о самоубийстве эта раздавленная личность не помышляет, наводя на мысль, что есть вещи и пострашнее самоубийства). Мне по-прежнему казалось, что вместо слов "упадок сплоченности" точнее употребить выражение "освобождение личности". Ибо у меня уже была художественная модель самоубийства: где-то на краю света рабочий поселок утопает в грязи, бедности, воровстве, пьянстве и тому подобных безобразиях. Некий пророк благодаря своей самоотверженности и организаторскому таланту преображает этот уголок ада в уголок рая: на месте развалюх вырастают чистенькие домики, исчезает национальная вражда, воровство, в либеральных школах причесанные дети пишут оригинальные сочинения и - возникают самоубийства. Убийств-то и прежде было сколько угодно, но вот убивать себя не додумывался никто. Причем покончил с собой именно баловень судьбы - любимый ученик пророка, красивый, талантливый, способный сделаться кем угодно: ученым, общественным деятелем... Но - зачем? Чтобы служить людям? Служить тем, кто ничуть не выше его самого - с какой стати? "Но я ведь служу", - растерянно бормочет пророк и слышит в ответ: "Я не верю, что вы служите этим заурядным людишкам, не стоящим вашего ногтя. Мне кажется, вы служите какому-то богу, которого скрыли от нас. А нам оставили только прописи: трудитесь, не ссорьтесь, уважайте каждое мнение и каждый обычай... Я до такой степени выучился уважать чужое,

что перестал уважать свое. Я завидую своему отцу, который точно знал, что хорошо и что плохо: стащить что-то на заводе - значит быть умным, проломить кому-то башку - значить быть храбрым, а я знаю, что все относительно: где-то стыдно грабить, а где-то трудиться, где-то красивы прямые носы, а где-то приплюснутые..."

И пророк с ужасом понимает, что дал людям комфорт, достаток, вежливость, но разбил стереотип их жизни: внес сомнения туда, где прежде все делалось автоматически. А человек силен и спокоен только тогда, когда остается автоматом, управляемым извне, когда по любому вопросу у него есть единственно правильное мнение. А там, где допускаются два мнения, завтра их будет четыре, послезавтра восемь - они начнут делиться, как раковые клетки... Всеобщее несогласие, то есть всеобщее одиночество, и неуверенность во всем - вот итог свободы и терпимости. Свобода мысли - это рак, оригинально мыслящего человек должно истреблять неизмеримо более неукоснительно, чем скромного убийцу, не покушающегося на общепринятые мнения. Ибо ценность этих мнений только в их общепринятости и заключается - Великий Инквизитор в легенде Достоевского не зря указывал на жажду совместного преклонения как на главную жажду человечества.

Александр

МЕЛИХОВ